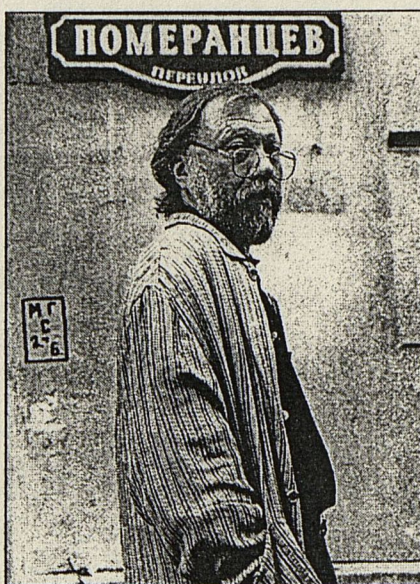


Лит. газета. — 1998. — 7 окт. — с. 12

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ:

Я из своей башни не выйду с белым флагом



Игорь Померанцев нашел в Москве свой переулочек

— Вы — лауреат литературной премии имени П.А.Вяземского. Ваша книга выдвинута на Букера в этом году. Какая премия для вас желаннее?

— Любая художественная премия желанна. Я отношусь к премиям с азартом. У литературы, как и у жизни, своя политика, экономика, светские развлечения, спорт. Премии — это спорт. Что до Букера, то эту премию я никогда не получу. У каждой премии свой радиус действия. Вот халат — материальное воплощение нижегородской премии имени Вяземского — по мне. Не сочтите меня бахвалом: по Сеньке — шапка. Стать лауреатом премии имени Толстого или Достоевского куда обременительней и комичней.

— Вы часто используете эту премию по назначению?

— Этот халат шит из роскошного малинового шелка по выкройкам XIX века нижегородской мастерицей Мариной. Смотреть на него — одно удовольствие и носить тоже. Правда, летом я предпочитаю кимоно.

— Вы писатель редко житейский и столь же необычно лаконичный. Нет ли здесь какой-либо связи между содержанием и формой?

— У каждого своя природа. Я к своей прислушиваюсь. У меня короткое дыхание: роман я написать не в состоянии. Я не выбирал малого жанра. Просто мои легкие не вмещают огромного объема воздуха, необходимого для романа. Если меня разбудят ночью и спросят: «ты кто?», я отвечу: «поэт». Поэт и прозаик работают по-разному. Прозаик садится к столу и начинает сочинять. Поэт прежде чем писать, уже что-то на шаггал, надышал. Моя грудная клетка по швам бы лопнула, если бы я взялся за роман.

— Выходит, ваши миниатюры — критические статьи, эссе, рассказы — что-то вроде стихов в прозе?

— Не обязательно придерживаться словарных определений поэзии. Для меня поэзия — летучая мышшь, на которую навели фонарик. Ее полет внезапен, непредсказуем. Я хочу, чтобы жанр отсчитывался от меня, а не я от жанра. Возможно, в этом моя незрелость. Но я никак не могу утолить жажду приключения — литературного, жанрового приключения. Моя последняя книжка вышла в киевском издательстве «Факт». Она называется «News». У нее своя драматургия: соседство стихов и журналистики. Поэт и журналист по-разному понимают новостность. Меня тянет пройти по самой кромке жанра, поставить самого себя в недоумение, нарушить жанровую границу. А нарушитель должен быть готов к наказанию.

— Критики, наверное, опешили, когда прочли вашу рецензию на стихи Николая Кононова, где критический разбор происходит, так сказать, под куполом цирка: аргументы иллюстрируются рисунками летающих гимнастов!

— Литературоведческие термины снашиваются. Они сводят на нет свежесть поэзии. А ведь оно, литературоведение, тоже начиналось с откровений: метафора — не просто термин, а преодоление хаоса. Или есть такой прием — «перенос». С ним гениально работал Джон Донн. Но «перенос» в глубоком смысле — это страх

Игорь Померанцев — русский поэт и прозаик, ныне живущий в Праге, один из ярких представителей третьей волны эмиграции. Родился в Саратове, учился в университете в Черновцах. Затем уехал в Германию, а потом в Лондон, превратившись из советского гражданина в агличского подданного. Долгое время работал на радио Би-би-си, потом на «Свободе». Признанный мастер короткой прозаической формы.

Книга Игоря Померанцева «По шкале Бофорта» (СПб. 1997) фигурирует в списке Букеровских номинантов этого года. Только что в Киеве вышла новая книга писателя — «News».

смерти: пока строка не кончается, ты жив!

— Так вы объясняли Бродского...

— ...К стихам лучше подносить счетчик Гейгера, мерить по шкале Рихтера, по шкале Бофорта. В стихах гуляет ветер, много ветров. Бофорт — английский адмирал, придумавший шкалу для оценки силы ветра. Я попробовал найти применение адмиральскому изобретению в своей книге «По шкале Бофорта». Напомнил по крайней мере себе, что поэзия — явление природное, стихийное, вроде пассатов, муссонов, линейных и шаровых молний.

— А какова природа столь поэтического восприятия поэзии у вас?

— В детстве я попал в своего рода Атлантиду — город Черновцы, где до войны жили замечательные австрийские поэты и мудрецы. Да и при мне еще посвистывали сквознячки Австро-Венгерской империи. Это край сильных, ярких красок. Я рос в чувственном запое, рос на ветру четырех-пяти языков: идиша, гуцульского, румынского, польского. Свою первую серьезную прозаическую вещь — повесть «Читая Фолкнера», я послал Давиду Самойлову, который с симпатией относился ко мне, а он показал эту повесть своему другу, составителю антологии советской прозы. Тогда я впервые услышал, что моя проза — не русская. С тех пор прошло четверть века, но сколько же раз я слышал о моих стихах, прозе, эссеистике: это не русское.

— Это произносится с интересом или неодобрением?

— С осуждением: мол, ты не такой, как мы.

— Что конкретно «нашего» в ваших произведениях?

— Я думаю, речь идет о признании русской литературы, которое связано с такими понятиями как «совесть», «страдание». А для меня главное — интенсивность: чувств, отношений с языком, литературного труда. Когда литература загоняют в угол, чтоб она «страдала», то она в этом углу вырастает... с горбиком. Как по мне, литература — это прживание жизни в языке, в словах, в звуках. «Совесть», «страдание» никуда не денутся, если они есть.

— В вашем творчестве настолько больше радости, чем страдания, что не сразу назовешь, кто вам близок в русской литературе по темпераменту.

— Думаю, что ключевые слова не «радость», а «счастье» и «богатство»: красок, запахов, ощущений. Я вовсе не одинок. Граница бледных слов проходит где-то севернее Львова. Дальше на юг слова наливаются соком. Бруно Шульц, Исаак Бабель, Лоренс Даррелл, новогреческие, итальянские, андалузские, каталонские поэты — это люди средиземноморской цивилизации. Знаете, все, что прилегает к морю — свободней, привольней. Где море, там и порт, а значит, рынок. А на рынке ты просто обязан торговаться, и слова должны быть яркими, вкусными, душистыми. В этом смысле литература глубоко жизненна... Мне пятьдесят лет, и я могу признаться себе, что мои литературные свободы, моя чувственная прививка, мой модернистский крен — отчасти форсированы. Это была защитная реакция на унифицированную и ханжескую советскую культуру. Но сейчас уже поздно меняться, и я из своей башни не выйду с белым флагом — я имею в виду слоновую кость.

— Какая уж там башня, кто же ближе вас к земле?! А вы, оказывается, и в интервью видите приключение!

— Да, хочется снова метнуть кости и все переиграть. Родиться

романистом английского склада: автором психологической прозы, которая мне не дается. Или написать эпос. Я говорю о литературных перевоплощениях. Когда ловишь себя на том, что твои пристрания стали принципами, идеологией, не по себе становится: как же ты «свободы торжество», стал рабом собственных взглядов?

— Не стало ли радио для вас путем к реинкарнации?

— Скажу честно: я — предатель литературы на радио. Смыслы слов часто мешают радиопластике. Я пришел на радио лет двадцать назад. Начиная на Би-би-си. Пришел как литератор, с присущим литераторам высокомерным отношением к эфиру. Но постепенно открыл для себя выразительность радиоязыка. Радио — это вид искусства, и как прочие искусства может волновать, тревожить, завораживать. Я увидел, точнее, услышал, что драматизм в эфире рождается, когда звуки сталкиваются, дают друг другу затрещины, чмокают друг друга в щеку. А для большинства литераторов радио — прокатный стан. Они просто зачитывают у микрофона свои тексты. Эти тексты могут быть замечательными, но место им в книге или в журнале. Иначе получается халтура, радиохалтура.

— В эссе «Со скоростью миллиметр в год» вы завершаете свое описание Лиссабона замечанием, что «культура — это не только и не столько воспламеняемые цитаты из Достоевского, но мох и лишайник, по-черепашьи ползущие по стенам города под аккомпанемент швейных машинок, трамваев и аккордеонов». Получается, «бытие» для вас вполне соизмеримо с тем, что по-русски снисходительно называют «бытом»?

— У каждой сильной культуры — свое призвание, и не случайно мы связываем итальянцев с оперным пением, а говоря об Англии, вспоминаем Шекспира: действительно театр растворен в английской жизни, в английской речи. Русская культура сильна, в первую голову, литературой, и ничего заторного в этом нет. Наоборот.

— Но как насчет культуры быта, которая русской интеллигенцией ценится менее культуры, скажем, абстракций?

— И в Англии культура материальная ценится в меру. Англия — страна протестантская. Я ценю в любом народе любую серьезную художественную игру. Да, мне чужда русская возгонка слова, русская истеризация духа, но слава Богу, что у русских есть эта возгонка, эта игра.

— Вы жили в Лондоне, Мюнхене, сейчас в Праге. Где вам всего уютней?

— Знаете, я чувственная свинья. Всюду ищу удовольствий. Что нужно свинье? Лужа — похрюкать, поплескаться. И эту лужу я всегда нахожу, будь то красивый город на реке или бокал вина. Мюнхен был для меня городом работы. Иной мотивации не было. А вот Лондон — город детства моего сына. Помню, как я в декабре водил его в школу. Зима, мокрый снег, а он в шортах — так там полагалось. И пока мы шли, я старался прижать его к себе, прикрывать полой пальто. Как мне после этого не относиться к Лондону по-отечески, по-сыновьи?

— А в Праге какая мотивация?

— Серьезная. Я вернулся в мою Австро-Венгерскую Атлантиду. Живу в пражских Виноградах. Буквально в полсотни метрах от моего дома — большое здание XIX века. Его построил один из самых знаменитых архитекторов империи — Йозеф Глафка. Он же когда-то построил здание Черновицкого университета, где я учился. Так что я пока остаюсь при своей топографии.

Беседу вела Лиля ПАНН